



## Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ

### О г. Розанове, его великих открытиях, его маханальности и философической порнографии

Поле российской словесности становится все более обширнее и необозримее. То и дело появляются на нем огромные, чрезвычайные силы, появляются, расцветают, приносят плоды, а вы иной раз только случайно и *post factum* \* узнаете о великом событии. Так именно случилось недавно со мной.

Совершенно случайно попался мне на глаза один из выпусков «Сочинений Сергея Шарапова», изданный еще в прошлом 1901 г. и озаглавленный «Сугробы», а в этих «Сугробах» остановила на себе мое внимание статья «Жмеринские львы и буйствующий В. В. Розанов. Поход против него протоиерея Дернова и генерала Киреева»<sup>1</sup>. Остроумие г. Шарапова, его сравнение г. Розанова с львами, убежавшими на станции Жмеринке из какого-то бродячего цирка — нисколько не занимательно. Не занимательно для меня было и двойственное отношение г. Шарапова к г. Розанову. Я и раньше знал, что автор «Сугробов» признает за г. Розановым «власть над умами и сердцами», «сильную и яркую мысль» и проч. и в то же время разрешает себе подвергать его «телесному наказанию без повреждения мягких частей» и одобряет, когда другие его «отшлепывают, приподняв полу халата» (подлинные выражения г. Шарапова)<sup>2</sup>. Но в «Сугробах» говорится о «новой концепции христианства», представленной г. Розановым, и то, что сообщается об этой «новой концепции», меня чрезвычайно заинтересовало. Но как познакомиться с нею не через посредство г. Шарапова, а из первых рук? Г. Шарапов пишет: «Этот строй мыслей нашел свое выражение в многочислен-

---

\* впоследствии (*лат.*).

ных статьях Розанова, разбросанных в журналах и газетах самого разнообразного направления, начиная от “Нового времени”, “Биржевых” и “С.-Петербургских ведомостей” и кончая “Гражданином” и самыми незаметными провинциальными изданиями. Перечитал розановские статьи и я в “Русском труде” — каюсь». Как же, спрашивается, поймать концепцию г. Розанова? Мне указали на книгу этого писателя «В мире неясного и нерешенного», в которой, дескать, содержится если не все, о чем писал г. Шарапов в «Сугробах», то самое существенное. Следуя этому указанию, я и узнал о великих явлениях в области русской литературы, которые приняли в моих глазах уже поистине гигантские размеры, когда я познакомился с огромным томом г. Мережковского «Религия Л. Толстого и Достоевского».

Книга «В мире неясного и нерешенного» содержит в себе не только статьи самого г. Розанова, предварительно напечатанные в разных изданиях, но еще ряд «полемиических материалов», ряд статей и писем разных авторов, возражающих г. Розанову или выражающих ему свое сочувствие и поддерживающих его мнения. Г. Розанов присоединяет в свою очередь к этим «полемиическим материалам» свои примечания, а иногда выходит и еще многоэтажнее, так как г. Розанов делает примечания к примечаниям г. Шарапова, в журнале которого печатались и некоторые собственные статьи г. Розанова, и некоторые из полемиических материалов. Нельзя сказать, чтобы эта архитектура книги была очень красива и удобна. Кроме того, в книге и много лишнего, то есть не имеющего ни малейшего отношения к обсуждаемому в книге вопросам. Мы узнаем, например, что «младшая из трех дочерей» одного из корреспондентов г. Розанова, П. А. Кускова<sup>3</sup>, по имени Марфа, «замуж выходит за одного из здешних помещиков», а сам П. А. Кусков «на Ионических островах не был, попал из Одессы в Ниццу»; что у другого корреспондента, В. К. Петерсена<sup>4</sup>, «утонула молодая племянница и умер старший племянник, чудный мальчик христианского воспитания и образа мыслей», и т. п. Все эти домашние радости и горести, может быть, и очень интересны и важны сами по себе, но едва ли нужны для уразумения «новой концепции христианства». Г. Розанов и сам понимает, что эти подробности лежат «вне темы», но, говорит, такая уж у меня «знойная привязанность не к одному делу, а и к поэзии вокруг дела», «ибо ведь эти племянники и племянницы в несчастьи — они люди, и нам следует, хоть и не зная их, сказать: “со святыми упокой”». Доброе дело, конечно, только я не знаю, почему г. Розанов не приглашает нас заодно пожелать счастливого супружества младшей из трех дочерей

П. А. Кускова Марфе и поскорбеть о том, что сам П. А. Кусков не попал на Ионические острова. Но как обогатилась бы русская литература, если бы все мы, писатели, обладали знойной привязанностью г. Розанова к безделью и доводили до сведения читающей публики о бракосочетаниях, смертях, болезнях, путешествиях и проч. своих добрых знакомых и их родственников!

Впрочем, благодаря знойной потребности г. Розанова мы подчас получаем сведения уже несомненно огромной важности.

У г. Розанова есть «усердный поклонник и почитатель», как он сам подписывается в письмах, протоиерей А. У-ский<sup>5</sup>. Завязав с г. Розановым переписку, он пожелал, между прочим, узнать его общественное положение и, узнав, пишет: «Так вот вы где? чиновником состоите? А я полагал, что вы служите по учебному ведомству. Ну, что же? Дело доброе. Ныне чиновничий мир дал много писателей с пророческим направлением... К этой плеяде пророков принадлежите и вы. Да, ныне век пророков. Недаром В. С. Соловьев так любил употреблять это слово. Вероятно, будущий историк наших дней начнет свое сказание о них такими словами: “В то время, когда пастыри душ человеческих превратились в пастырей одних только карманов человеческих, для управления человеческими душами стал Господь воздвигать пророков”».

Это уже не бракосочетание младшей из трех дочерей г. Кускова и не неудавшаяся поездка на Ионические острова. Это нечто поразительное, как по своему значению, так и по своей неожиданности — я уверен — для огромного большинства читателей. В самом деле, мы так привыкли жаловаться на всяческую современную скудость, мы даже успели надоесть друг другу хныканьем на эту тему, а оказывается, что наш век есть век пророков! Мы привыкли соединять с эпитетом «чиновнический» по малой мере непохвальный смысл. «Чиновническое отношение к делу» значит на нашем обиходном языке отношение формальное, бездушное. Оказывается, что из этой именно среды воздвигаются пророки!.. И вот один из них, г. Розанов, тот самый г. Розанов, которого г. Шарапов отшлепывает, приподняв полу халата... Пусть после этого повторяют, что никто в своей земле пророком не бывал!

Естественно, что корреспонденты г. Розанова приносят ему «искреннюю и глубокую признательность за многие часы истинного удовольствия и наслаждения», испытанные ими при чтении его произведений; что письма его они «хранят как драгоценность» и обращаются к нему с такими восторженными восклицаниями: «Ну, что за прелесть! Что за роскошь! Так и

расцеловал бы вас за эту статью! Ведь вы открываете своего рода Америку!» Или: «Два ваших фельетона — бессмертны и неумирающи». Ввиду знойной потребности г. Розанова, неудивительно, пожалуй, и то, что он сам же и предаёт гласности все эти восторги. Но достойно внимания, что «прелесть», «роскошь», новые Америки и т. п. имеются в произведениях не только самого г. Розанова, а и многих его корреспондентов и авторов «полемических материалов». Вот, например, некоторые из примечаний г. Розанова к статье г. Колышко «Брак как религия и жизнь»<sup>6</sup>: «Вот не только богатое, но богатейшее выражение, слово, которое стоит дела». — «Разделением этим г. Колышко делает новый шаг к проблеме брака». — «Вот прекрасная мысль, прямо сказанная!» — «Все это место замечательно и *ново по тону*, как я не умел сказать». — «Вот прелестная мысль!» — «Могу сказать только: браво!» — Вот гениальная мысль, необыкновенно много объясняющая в истории европейской семьи!» — «Все это очень важно». — «Конечно, конечно! Это необыкновенно важное замечание». — «Все это — святые истины». — «Все это место и ниже строки — глубоко». — «Верная и поразительная картина павшей семьи». — «Замечательно ценная мысль». Или вот еще отметки, которыми г. Розанов сопровождает одно из писем г. Уского: «Прекрасно, глубокомысленно. И я всегда думал...» — «Глубина из глубин». — «Все это место удивительно. Так и я всегда думал».

Итак, читатель, перед нами богатейшая россыпь новых Америк, прекрасных, прелестных, гениальных мыслей, необыкновенно важных, увлекательных, глубокомысленных замечаний, верных и поразительных картин... И скажите по совести, — знали ли вы о существовании этой Голконды? Я — откровенно каюсь — не знал. Мало того: я всегда верил, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рожать», но чтобы эти Платоны и Невтоны были так близко, совсем рядом, стоит только перешагнуть «Сугробы» г. Шарапова, — это мне и в голову не приходило. Кто же мог, в самом деле, думать, что в «Новом времени», «Гражданине», «Русском труде», в которых мы привыкли встречать что угодно, только не прекрасные и гениальные мысли, они рассыпаны целыми горстями, и даже до «глубины глубин»?! Теперь все это более или менее собрано в книге «В мире неясного и нерешенного», к которой мы с подобающим благоговением и приступим. Но прежде надо сделать маленькую оговорку. Все эти взаимные комплименты г. Розанова и его корреспондентов, которые знойная потребность нашего автора непременно долж-

на доводить до всеобщего сведения, как будто несколько напоминают сказание о кукушке, которая хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Оно и похоже на то. Но надо отдать справедливость г. Розанову: он печатает и перепечатывает не одни комплименты и похвалы себе. Так, он сообщает, например, следующее «письмо-строку», полученное им на другой день после напечатания одной из его статей: «В. В. Под гнетом духа любодейния написаны ваши последние статьи. М. С-в»<sup>7</sup>. И к этому письму-строке г. Шарапов приписывает такое примечание: «Верно, верно, истинная правда! Я очень досажаю на себя, что решил печатать ваши статьи, почтеннейший Василий Васильевич! Каюсь, перед сдачей в набор не дочитал до конца, да ведь и почерк ваш отчаянный! Когда мне подали корректуру № 50–51 и я прочел, как сладко разглагольствуете вы о “противоестественном”, я взял перо и начал вымарывать, смягчать и накладывать фиговые листья. И все-таки “духа любодейного” выкурить не мог». Далее г. Шарапов заявляет: «Мы с вами вот уже три номера подряд угощаем читателя порнографией, хотя бы и философической». В свою очередь и П. А. Кусков (тот самый, которые не попал на Ионические острова и младшая из трех дочерей которого выходит за здешнего помещика) по поводу «письма-строки» спрашивает г. Розанова: «Кто это вам так ясно, кратко и метко высказал впечатление, произведенное на него вашими статьями о поле? Грешный человек, я подумал то же самое: под гнетом духа любодейния»!..

Неожиданность за неожиданностью...

Чтобы добраться до сердцевины книги г. Розанова, надо преодолеть не только многоэтажное построение из статей самого автора, возражений на них и сочувственных статей и писем, примечаний к ним и примечаний к примечаниям; не только пеструю чащу сообщений «вне темы» о судьбе детей, племянников и племянниц корреспондентов автора; о разных эпизодах из его собственной жизни и жизни его родственников (например, сообщение о том, как покраснела его трехлетняя дочь, когда врач, «среди другого осмотра, раскрыл и стал осматривать ее genitalia»); наконец, не только ряд неожиданностей от глубины глубин до порнографии. Есть и еще трудно преодолимые препятствия. Они заключаются как в самом ходе мысли г. Розанова, так и в способе его изложения.

Одна из статей г. Розанова («Брак и христианство») оканчивается пожеланием читателю «крепкой и осторожной мысли». В одном из примечаний к полемической статье г. Н. Аксакова «О браке и девстве» г. Розанов пишет: «Все это довольно толко-

во и умно, и мы радуемся, что *пристальностью* (курсив, как и везде выше, принадлежит г. Розанову) рассмотрения одной темы привели даже антагонистов автора к необходимости рассуждать, наконец, точно и внимательно». В действительности, г. Розанов не обладает ни той «пристальностью рассмотрения», которую находит в себе, ни той «крепкою и осторожною мыслью», которой он желает своему читателю, ни той «точностью и внимательностью рассуждения», которую он будто бы внушил «даже» (!) своим антагонистам. В области вопросов, занимающих г. Розанова, едва ли найдется другой писатель, столь же невнимательный к фактам действительности и логике выводов, столь же неточный в своей мысли и ее словесном выражении. С разбегу и без оглядки — это могло бы быть девизом г. Розанова и как мыслителя, и как писателя.

Как-то, в одной из прежних своих статей, г. Розанов построил некоторое теоретическое здание на том факте, что Руже де Лиль написал во всю свою жизнь только одну «Марсельезу». И совсем бы все хорошо вышло, если бы Руже де Лиль<sup>8</sup> действительно только раз в жизни был композитором и ничего, кроме «Марсельезы», не сочинил, но он написал много и очень разнообразных музыкальных произведений. Г. Розанов мог о них не знать; но, казалось бы, та «пристальность рассмотрения», которой он хвалится, та «точность и внимательность рассуждения», которую он внушает другим, обязывает предварительно ознакомиться с тем, о чем собираешься говорить... В другой раз, рассуждая о свойствах ума и характера наследственного духовенства, прошедшего семинарскую школу, г. Розанов иллюстрировал свои положения, между прочим, примерами Ришелье, Мазарини и Шелгунова<sup>9</sup>... С разбегу он не заметил, что это иллюстрации совершенно неподходящие, так как все три названные лица — чистокровные дворяне и в семинарии не бывали. Такими подвигами пристальности, точности, внимательности, осторожности переполнена и книга «В мире неясного и нерешенного». Исчерпать в этом отношении книгу до дна — нет ни возможности, ни, конечно, надобности. Но на двух-трех образцах мы остановимся с некоторою «пристальностью».

По соображениям, которые мы, может быть, поймем ниже (а может быть, так и не поймем), г. Розанов считает нужным остановить внимание читателя на «загадке», которой «никто не разобрал», а именно: «что такое *лицо* в нас?» Разгадка такова: лицо есть «точка, где тело начинает “говорить”, к которой и сами мы говорим, “обращаемся”; точка, где прерывается немота, откуда прорывается мысль; где начинается *особливость* и кончается без-

различие». Дав это определение, г. Розанов замечает, что и другие части человеческого тела, в несравненно меньшей степени, но обладают известной выразительностью. Таковы локоть и плечо, но в особенности кисть руки и ступня ноги.

«В кисти руки, — говорит г. Розанов, — есть явно *затылочная*, покрытая легким пушком часть, и *личная*, лицо, ладонь, голая. Будем внимательны к наблюдениям и не глухи к мелочам человеческих инстинктов: приветствуя, мы касаемся рукою руки и не дотрагиваемся (?), но прикладываем ладонь к ладони, которые сжимают одна другую. Образовалась *фразировка* рукопожатий, без придумывания, *само собой*: руки ласкаются. Холодно, при почтительности, целуя руку, мы ее целуем в глухую *затылочную* часть (верхнюю, с пушком); но поразительно, что в неге и страсти мы повертываем ее, довольно неудобно для нее, и целуем в лицо, в ладонь, где сплетаются таинственные линии, задатки черт лица. В минуту особо горячей молитвы мы почему-то “воздеваем руки”; руки кого-то *ищут*, *тянутся* к кому-то; и станем следить, до чего это любопытно: мы обе кисти руки повертываем ладонями к образу, св. Лику; т. е. мы *становимся* на молитву всеми в себе лицами (священник во время херувимской песни)».

Станем, в самом деле, следить, до чего это выходит любопытно у г. Розанова. Оставим пока в стороне все, что мы целуем и вообще делаем «в неге и страсти». Этот приятный сюжет г. Розанов постоянно и не случайно, а принципиально сопоставляет и связывает с молитвой, и мы еще с ним встретимся. Остановимся на молитве. Что в молитве люди так или иначе воздевают руки, это верно, но, не говоря о том, что мы и в самом обыкновенном разговоре жестикулируем руками, г. Розанов подчеркивает значение именно *ладони* руки, следовательно, рука в целом в его рассуждении ни при чем. А что касается ладоней, то священник во время херувимской, по раз навсегда установленному ритуалу, действительно обращает, говоря языком г. Розанова, «все свои лица к св. Лику». Но это делает именно священник и именно во время херувимской. «Мы» же, то есть вообще христиане, поступаем на молитве как раз наоборот: или складываем ладонь с ладонью, то есть закрываем свои ручные «лица» одно другим, или, осеняя себя знамением креста, опять же обращаем почти закрытую перстосложением ладонь к себе; иные, в особенности католики, в молитвенном экстазе бьют себя в грудь или, скорбя о грехах своих, закрывают лицо руками, причем ладоней не выворачивают. До чего это любопытно...

Покончив с «эмбрионами» лиц, то есть с ладонью руки и ступней ноги (краткости ради пропускаем курьезы о ступне), г. Розанов переходит к полному, настоящему лицу.

«Есть, — рассуждает он, — лица *мужские и женские*, но нет лиц «математических» и «филологических». Я хочу сказать, что строение лица не обусловлено вовсе предметами и характером теоретической деятельности человека, как можно было бы ожидать по его положению и, казалось бы, тесной зависимости от головного мозга; но есть что-то в нем, указывающее на зависимость его от пола, текучесть из пола. Есть лица отроческие, юношеские, мужские, старческие; но и отрочество, и юность, и мужество, и старость суть *стадии в жизни пола*, его утренняя дремота, поздний сон, его день и зной полудня. Нет вовсе «музыкальных» и «живописных» лиц, но есть «целомудренные» и «развратные»: очевидно, что лицо есть отсвет пола, его далеко отброшенное, но точное и собранное, сосредоточенное устремление... Лев Толстой, столь гениальный в психическом анализе, собственно, везде дает нам психологию возраста и пола; например, нарисовав столько поразительно жизненных фигур — Наташа, Соня, кн. Марья в «Войне и мире», Долли, Китти, Анна, Варенька в «Ан. Карениной» — он даже не упоминает ни об одной из них, была ли она чему-нибудь выучена. Так сказать, «филологические» и «математические» черты в лице человеческого у него вовсе отсутствуют; но вся полнота выражения лица сохранилась при этом; много выиграв в жизненности, они ничего не утратили в осмысленности... Вся почти необозримая по разнообразию деятельность Толстого примыкает к теме «Детства и отрочества». «Крейцерова соната», например, — что она такое, как не «плач неутешной души» над поруганным в мире материнством, над оскорвляемыми в самых его родниках «детством» и «отрочеством»... Толстой не знает, т. е. он отвергает иную психологию, кроме как психологию пола и возраста; но если взять и весь круг его забот, тревог, его ожесточенности против «нашей цивилизации», «плодов» нашего «просвещения», не трудно открыть их всех общий родник в страхе и отвращении к тому же загрязненному или без внимания обходимому «детству» и всему, что его вынашивает, т. е. к человеку в рождающих его глубинах... Толстой непрерывно внимает полу».

Нелегко разобраться во всей этой путанице, не сразу даже поймешь, почему г. Розанову вздумалось ставить вопрос именно так, как он его ставит. Филологических и музыкальных лиц действительно нет, как нет и лиц музыкальных и живописных, а мужские и женские и, пожалуй, целомудренные и развратные — существуют. Но что из этого следует? и почему г. Розанову понадобились в данном случае филология и математика? «Строение лица» зависит от множества условий, в том числе, конечно, и от пола, наглядным свидетельством чего служат так называемые вторичные половые признаки — присутствие и отсутствие бороды. Но совершенно неизвестно, почему перед умственным взором г. Розанова стоит дилемма: или пол, или «предмет и характер теоретической деятельности». Тем более это странно, что головной мозг, который, как мы, вероят-

но, увидим, вообще не в авантаже у г. Розанова обретаются, ведает не одну теоретическую деятельность. Что умственное напряжение, в особенности в ряду поколений, накладывает на человеческое лицо свою печать, в этом нет никакого сомнения, хотя это часто маскируется разными пертурбационными влияниями, и хотя, с другой стороны, искать в лице отражения той или другой специальной отрасли знаний есть нелепость, которую не стоило ни предпринимать, ни опровергать. Во всяком случае, как мужские, так и женские лица одинаково бывают умные и глупые, суровые и нежные, властные и кроткие, жестокие, зверские, мрачные, веселые и т. д., и т. д. Все это г. Розанов заслони́л для себя измышленными им самим «филологическими» и «математическими» чертами, отсутствие которых в героинях Толстого он так победоносно констатирует. Достоинно внимания, что он ищет их только в героинях Толстого, в женщинах, хотя распространяет свое суждение на оба пола; между тем, в описании наружности Сперанского<sup>10</sup>, например, или генерала Пфуля<sup>11</sup> он бы мог, пожалуй, найти и отражение предмета и характера теоретической деятельности. А что на лицах светских героинь гр. Толстого (притом, как в «Войне и мире», начала прошлого века), не отразился предмет и характер их теоретической деятельности, так это, я полагаю, объясняется довольно просто: ни филологией, ни математикой и никакой иной теоретической деятельностью эти дамы не занимались. Не смущают г. Розанова и лица детские, отроческие, мужские, старческие, — все это, говорит он, стадии в развитии пола, как будто и в самом деле между ребенком, юношей, стариком нет никакой разницы, кроме их отношения к половой жизни. «И станем следить, до чего это любопытно». Объявив возраст исключительно стадией в развитии жизни пола, г. Розанов говорит, что «Толстой, столь гениальный в психическом анализе, собственно, везде дает нам психологию возраста и пола». Затем оказывается, что этой теме посвящена «почти вся необозримая деятельность Толстого». И, наконец, решительное утверждение: «Толстой непрерывно внимает полу». Ну, а психология властолюбия, честолюбия, патриотизма, психология толпы, увлекаемой примером, и проч.? Как все это выразилось у Толстого в изображении Наполеона, Платона Каратаева, гр. Ростопчина, героев севастопольских рассказов, в сценах убийства Верещагина, Шенграбенского сражения, психология «Люцерна» и т. д., и т. д. без конца? На этот вопрос г. Розанов может ответить, что и здесь «не трудно открыть общий родник в страхе и отвращении к тому же загрязненному или без внима-

ния обходимому “детству” и всему, что его вынашивает, т. е. к человеку в рождающих его глубинах». Но разве это ответ?

Еще пример:

«Мозг самый тяжелый был у Кювье<sup>12</sup>; но следующий за ним по тяжести был мозг одной помешанной женщины, высокие способности которой ничем не были засвидетельствованы; выражение разорванности между душой и мозгом довольно показательное. Рядом с этим самое прекрасное лицо есть лицо Рафаэля. Его гений тем высок, что не был вовсе гений порядка логического, но гений образов, созерцаний, таинственных молитв, для которых он не нашел слов и, как бы взяв краски с цветка, собрал их в дивные картины. Единственное в истории лицо, но чем оно, собственно, нас поражает? Одною странною и немного сверхъестественною в себе чертою: это лицо *девушки*, посаженное на мужчину. Присутствие обоих полов в одном существе, двуполость в индивидууме — невольно на нем останавливает. Т. е., как мы можем догадываться, лицо первого по богатствам души человека, *самого небесного*, свидетельствует о странной раздвоенности его души в начала мужское и женское и, вероятно, соответственно этому, *о постоянном и сильнейшем в нем половом возбуждении utriusque sexus...*» \*

Курсив последней, истинно-поразительной фразы принадлежит не г. Розанову, а мне. Я хотел бы, чтобы она запечатлелась в памяти читателя. Но она входит в состав того, что г. Шараров называет «порнографией хотя бы философической» и что составляет сердцевину мысли г. Розанова, до которой мы еще не добрались.

Откуда г. Розанов получил сведение, что самый тяжелый после Кювье мозг был у какой-то помешанной женщины, — я не знаю. Может быть, из того же источника, из которого он узнал, что Руже де Лиль не написал ничего, кроме «Марсельезы», и что Ришелье и Мазарини были из семинаристов. Но если это и вполне достоверный факт, то он еще ровно ничего не говорит в пользу «разорванности между душой и мозгом». Во-первых, вежливо говоря, смешно основывать что бы то ни было на единичном, хотя бы не подлежащем ни малейшему сомнению факте, которому противостоят тысячи других фактов, давно получивших полное и всестороннее объяснение. Во-вторых, психическое расстройство нередко настигает высокоодаренных людей, к которым принадлежала, может быть, и помешанная женщина с тяжелым мозгом. В-третьих, едва ли найдется ныне хоть один человек, утверждающий зависимость высоких умственных способностей непосредственно и исключительно от веса мозга. Ку-

\* и другого пола (лат.).

рзе́н, далее, этот внезапный переход от веса мозга Кювье и помешанной женщины к наружности Рафаэля: «*Рядом с этим самое прекрасное лицо есть лицо Рафаэля*». Право, это напоминает гоголевскую шишку на носу алжирского бая. И что это значит: «самое прекрасное лицо», «единственное в истории лицо»? Очевидно, выводя эти слова пером на бумаге, г. Розанов не давал себе никакого отчета в том, что он пишет, а писал именно с разбегу и без оглядки, «маханально», как говорит один купец у Островского. В самом деле, значит ли это, что г. Розанов сделал *смотр всем лицам в истории* (подумайте!) и остановился на лице Рафаэля как на «самом прекрасном» и «единственном»? Но если бы это и было возможно, то это было бы делом личного понятия о красоте и личного вкуса г. Розанова, каковой вкус, наверное, идет вразрез со вкусом не только древних египтян, ассирийцев, греков, персов и проч. и современных китайцев, негров, индейцев и т. д., но и огромного большинства соотечественников г. Розанова, вкусы которых, по крайней мере, соизмеримы. Вообще, возможно ли указать «самое прекрасное лицо» не то что в тысячелетиях истории, а даже, например, в современной России или хоть в большом общественном собрании вроде театрального зала? Ведь и при выдаче премий за красоту жюри колеблется и препирается...

Читатель скажет, может быть, что я уж пересаливаю в пристальности внимания к вздорам г. Розанова. Но как же иначе быть, если этот маханальный писатель совершает целый переворот в религии, если его статьи «бессмертны и неумирающи»?

Нам надо еще заглянуть на те высоты, до которых иногда достигает манера изложения г. Розанова. Он сам их хорошо знает. Так, в одном месте он говорит: «Пусть будут прощены мои неуклюжие глаголы!.. пока же, пока еще найдешь “язык простой и голос мысли благородной”, а до времени употребляешь первые попавшиеся, раскосо-стоящие слова, чтобы указать новое и неожиданное, что на ступенях видишь». А одно из примечаний автора к полемическим материалам оканчивается так: «Мы немножко бредим, но это — материи, где только бредя — “набредает” на истину». Хорошо, похвально, конечно, что г. Розанов сознает неуклюжесть своих глаголов и смиренно просит простить его: всякий пишет как может, как умеет. Но если г. Розанов может писать лучше, толковее, точнее, внимательнее, если ему доступен «язык простой и голос мысли благородной» и только по торопливости пускает он в ход первые попавшиеся раскосо-стоящие слова, так это вовсе не хорошо, и, в особенности, когда речь идет о новом и неожиданном. И зачем так торопиться?

Поспешишь — людей насмешишь: сообщишь нечто, столь новое и неожиданное, например, о Руже де Лиле, о Ришелье и Мазарини, о Рафаэле, что и на правду не похоже. Еще хуже, разумеется, когда человек по той же торопливости сознательно печатает заведомый бред, утешая при этом читателя: это я так, временно, в ожидании той истины, на которую набреду в будущем. Это уже не смиренное признание в том или другом своем изъяне, а, напротив, чрезвычайное высокомерие и презрительное отношение к читателю.

То, что сам г. Розанов называет неуклюжими глаголами и бредом, заинтересованный читатель найдет на с. 127 и 221–222. Я же обращаю его внимание на каламбур о бреде, которым автор рассчитывает набрести на истину. Когда человек идет не от факта к факту и не от мысли к мысли по логической между ними связи, а от слова к слову по звуковому их сходству, — получается каламбур, который может быть остроумен и забавен в качестве «игры ума», но которому никто не придает серьезного, научного или философского значения. У господина же Розанова, при его маханальности, многочисленные каламбуры играют роль серьезных аргументов. Бред как путь к истине соблазнил его потому, что ему пришло в голову слово «брести», но, раз возникнув, эта звуковая ассоциация кажется ему вполне убедительной. Вот другой, более сложный пример каламбурной маханальности, который, кстати, может служить и образчиком бреда, хотя на этот раз г. Розанов и не признает его за таковой:

«В обрезании установилось вечное (и невольное) созерцание Бога как бы через кольцо здесь срезанное, и это до такой степени связывало Бога с точкой обрезания, что теизм — сексуализировался, а *sexus* — теитизировался. И так — уже в тысячелетиях, так — уже невольно! Тут получилось вечное зеркало созерцаний, из коего не умел и никогда не мог выйти семит: всякая мысль о поле (“сонные мечтания”) пробуждала мысль о Боге, теряла жесткое выражение (нам известной) чувственности и растворялась в богообращенности, не отрицаясь (здесь взял меня Господь); обратно, о Боге мысль — побуждала вспомнить свой пол, и, может быть, даже наверное — будила “мечтание”. Двое малюток в одной люльке ласкаются ручонками. Не сочинить этого, а *priori* не сотворить; *не из чего сотворить* — иначе как через “обрезание” Богу, “ветхий завет”. Я беру и *чиню себе перо*: вот подобие и аллегория “срезания”, “чинения” себе Израиля. И Бог знал, где “зачинить” его в союз вечный и нерасторжимый, и до *дна* проникающий».

Дешифровать эти каламбуры, равно как и весь этот бред, я не берусь.

«Порнография», хотя и «философическая», и «любодейный дух», прикрытый фиговыми листьями работы г. Шарапова, — не думаю, чтобы главным образом в этом состояло неприличие г. Розанова как писателя. Неприличен он прежде всего своей нечистоплотной маханальностью: той развязностью, с которой он пускает в обращение небывалые факты собственного сочинения или делает достоверные, но ни для кого не интересные, сообщения о подробностях жителя-бытия своих знакомых; той небрежностью, с которой он пишет «первые попавшиеся слова», не давая себе труда в них вдуматься, и даже прямо и просто свой бред печатает. Все это гораздо неприличнее, чем, например, явиться в общество в халате или с изъянами вроде незастегнутых пуговиц там, где им полагается быть застегнутыми. Костюм есть дело условное, халат для европейца и азиата не одно и то же, тогда как выплескивать из себя на бумагу для всеобщего сведения всякий вздор всегда и везде одинаково нечистоплотно; нечистоплотно, недобросовестно и оскорбительно для читателя. Есть очень «знойные потребности», которые, однако, всенародно не удовлетворяются. Г. Розанов не знает в литературном отношении никаких границ. Помните, например, как он однажды обратился к Толстому с нотацией, одинаково изумительной как по форме, так и по содержанию: он печатно говорил с «великим писателем русской земли» на «ты» и рылся в интимнейших подробностях его личной жизни. Не помню, где было напечатано это единственное в своем роде произведение русской литературы, во всяком случае ответственность за него, равно как и за все другие курбеты г. Розанова — все эти выдуманные факты, каламбурные аргументы, первые попавшиеся слова, бреды — должна быть распределена между ним и теми редакциями, которые либо совсем безданно, беспощинно пропускают его писания, либо, как г. Шарапов, спохватываются, уже достаточно угостив читателя «философической порнографией».

Надо, впрочем, сказать, что философическая порнография г. Розанова есть дело очень сложное и далеко не все в ней заслуживает запоздалого негодования г. Шарапова. Г. Шарапов утверждает, что г. Розанов проповедует «полную свободу половых сношений». Это неправда или, по крайней мере, недоразумение. Г. Розанов горячо стоит за семью и, как увидим, готов приносить ей даже чрезмерные жертвы; он негодует против так называемых романов в жизни; слова «отец», «мать», «дети» — для него священны. Он с умилением рисует картины то, как мы имели

случай видеть, двух детей, ласкающихся ручонками в люльке, — и даже ни к селу, ни к городу, — то престарелых, любящих друг друга супругов. В связи с этим он восстает против взгляда на половые отношения как на что-то само по себе нечистое, постыдное, унижающее человека. Это закон природы или, как он предпочитает выражаться, Божий закон, и если в практическом его осуществлении бывает нечто грязное, мерзкое, унижительное, то это зависит не от него самого, а от тех рамок, от тех условий, в которых он осуществляется. Отрицательное отношение к самому источнику жизни вызывает лишь массу лжи, лицемерия, фарисейства, страданий и преступлений. Такова исходная точка г. Розанова. Отсюда идут два ряда его мыслей, весьма неравноценных, хотя оба они, кажется, в одинаковой мере возмущают г. Шарпова и других оппонентов г. Розанова. С одной стороны, г. Розанов решает со своей точки зрения некоторые житейские вопросы (о разводе, о незаконных или, как ныне называет их законодатель, внебрачных детях, об истинном целомудрии), причем обнаруживает — что бы ни говорили его оппоненты — много здравого смысла и гуманности, хотя и облекает их, к сожалению, подчас в свойственную ему сумбурную форму. С другой стороны, он строит некоторое головоломное метафизическое здание, вроде Вавилонской башни, основание которое должно корениться в земле, а вершина упираться в небо. Он хочет, говоря его собственными словами, «теитизировать пол и сексуализировать религию». Здесь-то и заключается то, что не без основания можно назвать философической порнографией г. Розанова. Я думаю, однако, что ответственность за нее лежит совсем не в «духе любоддеяния», который будто бы обуял почтенного автора, а все в том же легкомыслии и высокомерии, с которыми он считает возможным или нужным доводить до сведения читателей всякие «первые попавшиеся слова».

Изложить основные мысли г. Розанова чрезвычайно трудно или даже прямо невозможно как благодаря вышеуказанным свойствам его мышления и писания, так и вследствие скользкости темы, многие подробности которой подлежат изложению только в специальных ученых трактатах и учебниках. Он сам пишет о некоторых таких подробностях, что «эти тайны так жгут язык, что о них нельзя, собственно, говорить: и язык “прильпе к гортани”, и бумага под чернилами горит, тлеет, проваливается» (117). Кроме того, для меня лично существует еще одно затруднение. Свою «теитизацию пола и сексуализацию религии» г. Розанов производит в рамках христианства, что и составляет «новую концепцию христианства». Он, его единомышленники и противни-

ки аргументируют не только доводами от разума, или данными историческими, естественнонаучными, собственными психологическими наблюдениями, а и евангельскими и ветхозаветными текстами. Для меня, как я уже заявил в «Отрывках из религии»<sup>13</sup>, — а настоящие заметки могут обратиться в один из таких отрывков, — это область неприкосновенная. Не берусь судить, кто из противников прав в своих толкованиях различных мест Ветхого и Нового Завета, и вообще не коснусь «новой концепции христианства».

Я понимаю, что специалисты по христианской догматике могут одни восхищаться толкованиями Розанова, другие возмущаться ими, хотя, признаюсь, меня несколько удивляет появление в качестве таких специалистов г. Шарاپова или г. Колышко, известных, кажется, с другой стороны. Во всяком случае, для меня эта полемика не существует. Но вавилонская башня г. Розанова, эта теитизация пола и сексуализация религии затрагивает разнообразные области, не имеющие никакого непосредственного отношения к христианству, в которых, однако, глубокомысленный автор тоже выдвигает «новые концепции» и делает замечательные открытия.

К сожалению, неясны главные термины, которыми оперирует г. Розанов. Он нигде не дает сколько-нибудь точного определения, что такое с его точки зрения религия и что такое пол. Может быть, он потому не находит нужным дать такое определение, что считает его всем известным, а может быть, его собственные на этот счет понятия не совсем ясны. На последнюю мысль наводит то странное применение слов «религия», «религиозный» и т. п., которое он иногда делает. Так, занесенный течением мысли на слово «взор», он останавливается для следующих размышлений: «Какая глубина в этом слове “взор”: ведь тут — глазное яблоко; одна, казалось бы, физиология; но в этой “физиологии” есть скорбь, есть безутешное — есть дух, высоко духовное, по коему мы и переименовываем анатомическое “глазное яблоко” в почти религиозное “взор» (113). И все это вздор. Никогда и ни при каких обстоятельствах мы «глазное яблоко» не переименовываем во «взор», — мы можем бросить взор, бросить взгляд, но бросить глазное яблоко не можем. Далее, почему во «взоре» г. Розанов усматривает непременно скорбь и безутешное? Оно, пожалуй, есть в тех «взорах усталых» по случаю «ночей безумных», о которых поется в известном романсе Апухтина<sup>14</sup>, но едва ли зато тут есть что-нибудь религиозное. Впрочем, со специальной точки зрения г. Розанова, может быть, и есть, ну, а те лукавые, свирепые, веселые и т. п. взоры, о которых мы говорим постоян-

но? Что касается пола, то г. Розанов довольствуется набором слов в таком роде: «кто же не понимает, что пол есть пульсация, есть древнейший в природе ритм»; или: «то темное и разлитое в существе нашем, что мы называем полом»; или еще: пол есть «точка, покрытая темнотой и ужасом, красотой и отвращением». И вот эти-то две туманности г. Розанов желает сблизить, слить воедино, так сказать, взаимно пропитать их одну другой.

«Сближение полов *свято* или *мерзость*?» — так формулирует один из авторов «полемических материалов», г. Гатчинский отшельник<sup>15</sup>, вопрос, о котором препираются г. Розанов с единомышленниками, с одной стороны, г. Шарапов, Кусков и проч. — с другой. Сам г. Гатчинский отшельник полагает, что вопрос неправильно поставлен, ибо, дескать, понятие *святости* и *мерзости* неприложимо к тому, что просто *физиологично*. Я думаю, что это верно относительно растительного и низшего животного мира; но для человека на известной ступени развития сближение может быть и свято, и мерзко, смотря по той роли, которую в нем играет, кроме физиологии, еще психология. И если бы г. Розанов стоял на этой точке зрения, то независимо, конечно, от того сумбура, которым он окружает здравую мысль, я приветствовал бы его борьбу с аскетизмом и его неизбежными спутниками, лицемерием и ложью. Но г. Розанов идет дальше, гораздо дальше, и притом совершенно в сторону. Для него сближение само по себе как продолжение или повторение акта божественного творчества есть нечто мистическое, а в его органах, в «том темном и разлитом в существе нашем, что мы называем полом», он видит орудия, которыми приподнимается завеса, отделяющая доступный нашим внешним чувствам и нашему ограниченному разуму мир явлений от «ноуменов», от сущности вещей. Поэтому он устраивает некоторое соперничество между головным мозгом и полом, причем делает в разных областях знания удивительные открытия, которые и излагает своей маханальной манерой первыми попавшимися словами. Удивительно уже само сопоставление и противопоставление головного мозга и пола, органа, занимающего определенное место в организме, подлежащего мере, весу, химическому анализу и т. д., и чего-то «темного и разлитого в существе нашем». Но дело становится, может быть, еще удивительнее, когда логическая нескладница такого сопоставления как будто сглаживается и мы узнаем, что пол имеет свои «два кульминационные выражения в лице и знаках пола». Таким образом, «пол» локализуется и сопоставлению с головным мозгом подлежит «лицо» (как помнит читатель, лиц у нас собственно пять: настоящее лицо, да две ладони, да

две ступни, — но это мы, краткости ради, оставим в стороне) и «знаки пола». Г. Розанов согласен, что «есть бесспорная зависимость между телом, corpus, как музыкальным инструментом огромной сложности струн, и между мозговыми массами, где как бы собрана в небольшом объеме их всех клавиатура»; но, — говорит, — «зависимость от этих масс собственно “души струящейся” гораздо темнее и даже вовсе сомнительна. Например, это: “диктует совесть, пером сердитый водит ум”, или у того же поэта и в том же стихотворении: “И мир мечтою благородной пред ним очищен и обмыт”<sup>16</sup> — как-то ужасно трудно отнести к «извилинам» «белого» или «серого» вещества мозга. Еще так называемую статическую, неподвижную сторону души, что-нибудь вроде аристотельских силлогизмов... можно представить себе неподвижно “от века” лежащую в мозговых массах, но “Мир мечтою”, т. е. *вихрь*, таинственный утренний ветерок, который даже в чисто умственной работе *ворошит* и *перебирает* силлогизмы... нельзя отнести туда, как нельзя отнести сон и бодрствование». Сообщив несколько высоко ценных и совершенно новых мыслей о сне и бодрствовании, а также о том, что в некоторых половых аномалиях психиатр ищет разъяснений у акушера, — все это, впрочем, на одной страничке, — г. Розанов заключает:

«Душа в ее динамическом смысле, как “ветерок” мыслей, как “крылышки” около силлогизмов, которые уносят их туда и сюда — вовсе и нисколько не имеет своим сидалищем мозг, но то темное и разлитое в существе нашем, что мы называем “полом” и что имеет в лице и знаках пола только два кульминационные свои выражения... Психическая деятельность, представляя как бы гуттенберговский перевод иероглифов пола, струится с лица, как “мысленный свет”, как аромат “доброты” и “ласки”, страха за ближнего, готовностей для него: “Тс... Тс... Ромео, это ты?” Неужели это “в мозгу вырабатывается”? Конечно — это стекает с лица. Лицо живет, играет, движется, говорим ли мы, пишем ли сочинения, скорбим ли, радуемся ли: “душа” есть “жизнь” лица, “отблеск” духовный с “одушевленных” его линий, струйка, стекающая с многозначительных его точек, со “сморщенного” чела, с “ласкового” взора».

Во всей этой цитате курсивы и кавычки принадлежат г. Розанову, очевидно, отмечая собою особенно значительные и характерные для авторской мысли выражения. Но что собственно значат все эти «ветерки», «крылышки», «вихри», все эти эпитеты вроде «струящаяся» душа? Что это за процесс, которым «стекает с лица» какой-то «мысленный свет» и «аромат доброты»? Почему ум Аристотеля имеет своим сидалищем головной мозг, а «сердитый ум» поэта — «кульминационные точки пола»? Все это не больше, как «слова, слова, слова», прикрывающие собою

нечто детски-невежественное. Но г. Розанов так верит в свои слова, слова, слова, что, как мы видели, усмотрев в портрете Рафаэля лицо девушки и не имея, кроме этого своего усмотрения, никаких данных, смело говорит о «постоянном и сильнейшем в нем половом возбуждении *utriusque sexus*». Для решения естественно возникающего вопроса — что это значит и как это возможно, — я предложил бы избрать комиссию из сведущих людей, в которую рекомендовал бы членами одного из редакторов изданий, в которых печатались произведения г. Розанова, например, кн. Мещерского и г. Колышко<sup>17</sup>, утверждающего, что ныне и вообще «часто не различишь, где начинается мужчина и где кончается женщина» (с. 83. «Полемические материалы»).

Маханально покончив с головным мозгом и лицом, г. Розанов столь же маханально справляется с «отделившимися и главными, нижними точками пола». Мы и здесь получаем ряд замечательных и совершенно неожиданных открытий, из которых я могу представить читателю лишь немногие. И да простится мне обилие цитат: читатель, я думаю, и сам убедился, что передавать идеи г. Розанова своими словами невозможно. Прежде всего, мы получаем любопытнейшее сопоставление лица и «главных нижних точек пола». Дело в том, что «фигура человека “по образу и подобию” имеет в себе как бы внутреннюю ввернутость и внешнюю вывернутость — в двух расходящихся направлениях. Одна образует с ней феноменальное лицо, обращенное по сю сторону, в мир “явлений”; другая образует лицо ноуменальное, уходящее в “тот” мир, к каким-то не астрономическим звездочкам, не наших садов лилиям». «Лицом мы только достигаем, отгадываем, догадываемся, любопытствуем; напротив, здесь — абсолютное молчание, но исполненное какого-то таинственного ритма, пульсации; самая форма — пустоты, полости, в противоположность “выпуклостям”, “уплотнениям”, из сочетания которых составлено лицо; “пустота”, т. е. начинающее *отрицание материи*, противоположный уплотнению полкус... Это есть противоположный логическому порядку мир, где нет вовсе познаваемых феноменов и начинаются собственно зиждительные ноумены».

В этой цитате каждое слово — перл. Так как о ноуменах нам ничего не известно и не может быть известно, то предоставим их в полное распоряжение г. Розанова, пусть он их помещает, куда хочет. Но почему «здесь» «нет вовсе познаваемых феноменов»? Они есть, их изучают анатомия, физиология и некоторые их специальные отрасли. И г. Розанов сам это знает, он брякнул свое нелепейшее отрицание с разбегу, маханально. Точно так же

маханально распределение «пустот», которых будто бы нет в лице (рот, носовые, ушные полости), и «выпуклостей», которых будто бы нет «здесь». Но мимо эти маленькие вздоры и перейдем к важному открытию г. Розанова в области общей биологии. Помнится, в одной из своих прежних статей г. Розанов глубоко презирал Дарвина, и конечно, английский натуралист вполне заслуживает презрения русского философа. Пресмыкаясь в мире феноменов, английский натуралист копил и громоздил один на другой мелкие факты для доказательства родства таких-то и таких-то растительных видов, таких-то и таких-то животных, и лишь убежденный этой подавляющей массой фактов, высказал гипотезу о происхождении видов вообще. Г. Розанов, которому, если позволено будет так выразиться, на феномены наплевать, потому что он силен если не знанием ноуменов, то «тайным касанием» к ним, решает вопрос гораздо проще, а именно:

«Пол в растении есть только временный феномен; это “распускающийся” и “оппадающий” цветок: остальное время года есть *живое*, но оно не имеет выявленных *точек сосредоточения* пола. Но вот, цветок (растение) разделяется: его венчик, лепестки, даже тычинки и пестики, вся “видная” часть, всякое в нем “выражение”, “сказывание” о себе — сохраняют верхнее, переднее положение; напротив, все внутреннее уже в цветке, полости оплодотворения и плодоношения относятся назад. Едва этот чудный факт, в сущности, разделение цветка, произошел — существо начинает *шевелиться, бегать, испытывать страх*, когда его ловят, *ловить* — когда оно *голодно*. Мы получаем план *животного*, собственно, развившийся из цветка; лицо, *личико* в нем — существующее в зачатке у насекомого, у раков, у “долгоносика” — суть *преобразованные наружные покровы пола*, отчего оно и бывает мужское и женское; а собственно внутренние половые части — есть затаившийся внутрь плодник и “чрево» (с. 8).

Видите, как просто: некоторое изменение во «внутренних ввернутостях и внешних вывернутостях», и растение превращается в животное. Куда же Дарвину до такой гениальной простоты! Есть в книге г. Розанова еще одно место, пожалуй, еще более посрамительное для медленной работы Дарвина, но я его приводить не буду — очень уж скользкая тема (сюда именно относятся фиговые листья фабрикации г. Шаропова). Такие более или менее рискованные места в изобилии рассыпаны по всей книге г. Розанова, что и дает повод некоторым из его противников обличать его в порнографии и «блудодейном духе». Я думаю, что обвинение это ставится слишком круто. Г. Розанов и сам понимает возможность и даже как бы законность подобных нареканий.

«Не заблуждаюсь ли я? — спрашивает он. — Не гублю ли душу свою бессмертную и с нею вместе души своих читателей, за кои по существу

дела автор всегда ответственен? Что область блужданий на обыкновенное (феноменальное) суждение “грязновата” — это-то я видел; но ведь и вся цель поисков была — найти, не *загрязнена* ли она только, такова ли она an und für sich \* в до-мирной истине своей. И если «нет» — *очистить*. Но это очищение невозможно было произвести одною только философией, по существу холодной и лишь пролетающей *около* темы (может быть — *мимо* нее): нужно было, т. е. была задача — снизить и чуть-чуть уничтожиться *самому* перед темой. Как бы, взяв священную бороду, начать оттирать ею точку всеобщего тысячалетнего плеванья, столь важную вместе точку! “Погибни мое имя, но воскресни вещь”... Это и было причиной, что я не только писал о теме, но и сливал свое лицо с ней, как бы говоря всякому, желающему оскорбить ее: “я — тут, человек; до известной степени философ, мудрец”» (129–130).

Этот мудрец, презирающий «обыкновенное, феноменальное суждение», мирящийся только на «до-мирной» истине и обтирающий ради нее своей священной бородой загаженные места, — это наивно, до комизма наивно, но «любодейного духа» тут нет. Своим стремлением «теитизировать пол и сексуализировать религию» г. Розанов напоминает некоторым из возражающих ему древние сладострастные культы, в которых «знаки пола» были предметами мистического поклонения. На это у г. Розанова есть только одно возражение, очень неосновательное, которое притом и возражением нельзя, собственно, назвать. Он говорит: «Ну, что кроме *слова* мы знаем о «культе Phallus’a»? Это как надгробная надпись: “под сим камнем лежит тело Ивана Ивановича”. Но кто он был и что с ним было — уже *прохожий* (мы) не знает!» (93). Нет, кое-что мы знаем, и очень жаль, что этого не знает г. Розанов, хотя бы уже потому, что знание это — конечно, только «феноменальное»! — дало бы ему материал для настоящего возражения. Сладострастные культы древности, имея в большинстве случаев оргиастический и экстагический характер, не знали тех строго определенных рамок умеренности и аккуратности, которые настойчиво рекомендует г. Розанов. Так, например, он пишет: «Вот первая *особенная проблема* мирского жития: в какие времена и с каким духом можно приблизиться брачному к жене своей? Едва я задаю себе этот вопрос, как отвечаю: не в опьянении, не в объядении, не в усталости, не в раздражении и лукавстве» (253). Г. Розанов стоит за воздержность, руководствуясь при этом отчасти церковными правилами, а отчасти физиологическими соображениями: «То, что не венчают в Великий пост — есть всеобщее и всему народу указание разрывать факти-

\* сама по себе (нем.).

ческое супружество на семь недель. Теперь, если взять шесть дней недели воздержания, то уже для самых пылких сил оно возможно» (148). Г. Розанов скорбит об отсутствии готовых «кратких молитвословий *перед* и *после*» (178). «Собственно *утренняя* и *вечерняя* молитвы и должны бы быть составлены *в отношении к этому акту*, возможному в ночи, как важнейшему самого сна» (198). «Демон ни против чего так не ухищряется, как против полового акта: “тут бы надо побережь человека, а уж там я погублю его!” Поэтому *одно* из направлений молитвы *перед* “сближением” должно быть *против* Велиара, к отогнанию его злых ковов. “Зову тебя, Вечный Боже, дабы ты оградил меня и ее от лукавых ковов”... Но тут вообще нужен гений слова, и мы умолкаем по бессилию» (199). Вся эта строго обдуманная и требующая большой выдержки обстановка не имеет ничего общего с культами Ваала, Астарты, Вакха-Диониса, нашего Ярилы и проч., и проч. Далее, характерная черта этих культов — о чем мы впоследствии будем говорить подробнее — есть жестокость: истязания, самоистязания, кровопролитие. Г. же Розанов, как христианин, проповедует кротость, любовь к ближним, смирение, и жесток он разве только по отношению к школьникам, пороть которых, по его мнению, необходимо. Наконец, те культы представляют собою либо обломок глубокой старины до-патриархального быта, либо бессознательный протест против семейных уз, тогда как для г. Розанова семья есть святыня. Одна из его статей так и называется «Семья как религия». Тот акт, на возвеличение которого он потратил столько мудрости и ради которого готов испачкать свою священную бороду, ценен и важен для него не сам по себе, а как акт деторождения, «сотворения душ». Для него «Библия есть универсальная педагогика (= дето-вождение) и даже, пожалуй, универсально-родильный дом» (260). К подножию семьи повергает он и отечество, и человечество. Именно в этом смысле надо понимать такое, например, его замечание: «Отечество всегда продавалось ради любви, и это хорошо: “хотят штурмовать их город, а там — мой возлюбленный; предупрежу их город, чтобы не удался штурм, и не убили моего возлюбленного”. И хорошо, что так. Все — осколками у ног любви; и без всего человек проживет, а без любовности он сейчас бы умер» (220). В этой тираде слова «возлюбленный», «любовь», «любовность» следует разуметь в связи с отцовством и материнством. И может быть, дело было бы яснее, если бы г. Розанов привел не столь поэтическую иллюстрацию к своей мысли, а указал бы, например, на казнокрада или взяточника, обкрадывающего казну (какая разница между этим обкра-

диванием и «продажею отечества»?) или берущего взятки ради семьи — «ребятишкам на молочишко»...

Боюсь, читатель на меня в претензии. Боюсь, он недоволен тем, что я на пространстве с лишком печатного листа занимал его внимание очевидным вздором. И разве в современной жизни нет ничего, более достойного отклика и освещения, чем этот мудрец, которого, несмотря на его священную бороду, всякий г. Шаратов может отшлепать, приподняв полу халата? чем это перенесение функций головного мозга во «внутренние звернутости и внешние вывернутости», все эти бреды и первые попавшиеся раскосо-стоящие слова о возбуждениях *utriusque sexus*, о созерцании сквозь кольцо обрезания и проч., и проч.? О, да, в жизни есть много яркого, что и с положительной, и с отрицательной точки зрения несравненно значительнее писаний г. Розанова. Но литература не всегда может откликаться на то яркое, что совершается в жизни, а в самой литературе писания г. Розанова представляют собой явление во всяком случае замечательное. Может быть, и прав один из авторов «полемических материалов», говоря: «Опровергать набор фраз г. Розанова, отождествлявшего христианские и ветхозаветные воззрения на брак с культом Ваала и Астарты (это-то, как мы видели, напраслина. — Н. М.) и по неведению искажавшего безусловно все исторические факты, будто бы служившие ему опорой, возможно было только в форме остроумно-едкого анекдота» (235). Но обратите внимание на несущиеся к г. Розанову хвалебные гимны и подносимые ему венцы бессмертия. Вот и г. Мережковский приводит такую параллель: «Ницше со своими откровениями нового оргиазма, “святой плоти и крови”, воскресшего Диониса — на Западе; а у нас в России, почти с теми же откровениями — В. В. Розанов, русский Ницше. Я знаю, — продолжает г. Мережковский, — что такое сопоставление многих удивит; но когда этот мыслитель, при всех своих слабостях в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже более, чем Ницше, самородный, первозданный в своей анти-христианской сущности, будет понят, — то он окажется явлением едва ли не более грозным, требующим большего внимания со стороны церкви, чем Л. Толстой, несмотря на всю теперешнюю разницу в общественном влиянии обоих писателей» («Религия Л. Толстого и Достоевского». XXXIII–XXXIV)<sup>18</sup>. Не мое дело судить о том, что подлежит большему, что — меньшему внима-

нию церкви, и я позволю себе только маленькую поправку к словам г. Мережковского. Никакого «оргазма» в «гениальных прозрениях» г. Розанова нет, напротив, как мы видели, он требует трезвости («не в опьянении»), умеренности, воздержности (семь недель великого поста и шесть дней недели), аккуратности (раз навсегда данное молитвословие «перед и после»). Что «первозданного» в «сущности» г. Розанова, я не знаю, да и первоизданности этой не понимаю, но эпитет «анти-христианский» здесь совсем неуместен. Г. Розанов во всеуслышание исповедует христианское учение, и претензия его — правда, очень большая — не идет дальше «новой концепции христианства», т. е. вящего утверждения его на незамеченных другими основах. Но это мимихоходом. Заслуживает или не заслуживает г. Розанов хвалы с точки зрения г. Мережковского, — хвала налицо. А хвала г. Мережковского чего-нибудь стоит. «Нас мало, но с каждым днем все больше», — заявляет он (XXXIV). И он не совсем не прав. В прошлом или в начале нынешнего года в Петербурге образовалось «религиозно-философское общество», видными членами и, если не ошибаюсь, членами совета которого состоят и г. Розанов, и г. Мережковский. Но и помимо того влияния, которое они имеют или могут иметь в среде этого кружка, некоторые более общие их взгляды независимо от них самих получают на наших глазах более или менее широкое распространение. Не они одни ищут путей в область заведомо неведомых «нуменов», как пишет г. Розанов, или «нуменов» по правописанию г. Мережковского. Есть в нашей современной общественной атмосфере что-то такое, что отвращает людей от «феноменов», явлений и устремляет их в «по ту сторонний» мир нуменов, ими самими признаваемый недосыгаемым, вследствие чего мысль их по необходимости принимает мистический характер полу-веры, полужакобы-знания. Признавая лежащее в основе христианства откровение, они, однако, не довольствуются им и стремятся собственными силами проникнуть в сокровенную сущность вещей. Любопытно, что к этому тяготеют, между прочим, и некоторые недавние ярые сторонники и проповедники экономического материализма: *salto mortale*, очень характерное для истории русской мысли и поучительный пример для всех скороспелых творцов «новых слов». Я не говорю, что эти еще недавно столь непреклонные и непримиримые материалисты совершенно совпадают в своих теперешних воззрениях с г. Розановым или г. Мережковским (не вполне совпадают, как увидим, и они). Может быть, дело и до этого дойдет, может быть, и их с течением времени постигнет перенесение функций головного мозга на «знаки

пола», но пока речь идет только о тяготении к «до-мирной истине» и презрительном отношении к «обыкновенному, феноменальному суждению». Не думаю, чтобы это течение увлекло многих, массу, как это было когда-то с увлечением идеями Писарева, или недавно — марксизмом. Но оно существует, и если не изменятся общие условия русской жизни, то с ним, вероятно, сольются в ближайшем будущем отдельные струи вроде мэонов г. Минского<sup>19</sup>, разных толков декадентства, ницшеанства в некоторых русских толкованиях и т. п.

Здоровая и разумная часть писаний г. Розанова — его отношение к аскетизму и связанному с ним лицемерию или страданию и вытекающие отсюда практические выводы о разводе, о внебрачных детях и проч. — отнюдь не составляют какой-нибудь новости в русской литературе. В старые годы уже «дети» в «Отцах и детях» Тургенева все это знали. Нов лишь антураж, обстановка, в которой здравые мысли являются в изложении г. Розанова. Быть может, для известного круга читателей важно и полезно, что мысли эти подкрепляются у него словами Ветхого и Нового Завета, — об этом я не берусь судить. Но обо всем остальном можно сказать старинным изречением: все хорошее здесь не ново, а все новое — нехорошо. Мало сказать: нехорошо. Хорошее у г. Розанова совершенно завалено сумбурно-ноуменальными сугробами, через которые читателю приходится перебираться, ежеминутно увязая по пояс. Сам-то г. Розанов летает по этим сугробам с изумительной легкостью. На то у него «крылышки» и «ветерок»... я хотел сказать: ветерок в голове, но вспомнил, что голова, по толкованию г. Розанова, тут ни при чем, а все дело в «знаках пола». Развязность, с которой г. Розанов предъявляет себя читающей публике — хотя бы и публике «Нового времени», «Гражданина» и «Русского труда» — есть тоже своего рода признак времени. Разумею не то, что г. Розанов часто ведет речь о предметах неудобосказуемых, для которых, по его собственным словам, «в специальных книгах употребляют термины латинского, т. е. мертвого, не ощущаемого нами с живостью языка». Это может быть оправдано искренностью и чистотой намерений. Но никаких оправданий нет для всех тех маханальностей — вплоть до настоящего бреда, — о которых у нас была речь выше.

